Анастас МИКОЯН

ВСТРЕЧИ С ГОРЬКИМ

Время не сотрет в памяти людей образ великого гуманиста и борца Максима Горького. Он всегда будет нашим современником, больше того, — современником будущих поколений. С именем Горького связаны неувядаемые общечеловеческие и революционные ценности. Максим Горький был тем первым писателем нашей революции, ее певцом и буревестником, в творчестве которого сочетались два великих начала — гуманизм и борьба.

На первый взгляд некоторым может показаться, что эти два понятия противоположны. Но опыт истории говорит нам, что подлинный гуманизм немыслим без борьбы. За счастье человека, его свободу, за духовный расцвет личности нужно бороться, ибо человек может быть истинно счастливым лишь в социально справедливом обществе. Таким борцом-гуманистом был Горький. Таким он живет в памяти людей. Живет своими бессмертными творениями, своими делами, в которых отразились его нравственный облик, обаяние и богатство его личности.

«Литературная газета» попросила меня вспомнить о своих встречах с Горьким. Выполняя эту просьбу, я отдаю себе отчет, насколько это нелегко. Тем более, что о Горьком написано так много и так хорошо. Скажу сразу: я не ставлю перед собой задачу нарисовать портрет Горького, каким он представляется мне. Порой общее впечатление, какое бы оно ни было яркое, трудно передать. Я не берусь, например, воссоздать в доподлинном виде слова, сказанные Горьким во время наших бесед, — с тех пор прошло немало лет, а память на детали не щедра, и многое, к сожалению, время уносит безвозвратно.

Первая моя встреча с Горьким состоялась в декабре 1920 года в Москве, на квартире вдовы Степана Шаумяна — Екатерины Сергеевны. В ту пору она жила со своими детьми в III Доме Советов в бывшем Божедомском переулке, ныне Делегатской улице. Тогда я приехал в Москву в качестве делегата Восьмого Всероссийского съезда Советов от Нижнего Новгорода. Инициатором этой встречи был легендарный Камо — Семен Тер-Петросян. Он незадолго до этого познакомился с Алексеем Максимовичем и сразу воспылал к нему нежными чувствами. Старая дружба связывала Камо и с Анатолием Васильевичем Луначарским. В эти трудные, холодные и голодные дни Камо решил порадовать старых друзей и повкуснее угостить их. С давних пор Камо знал, какие вкусные кавказские блюда умела готовить Екатерина Сергеевна. Он пришел к ней и сказал: «Если я достану все, что нужно, вы приготовите хороший плов и ваши, тающие во рту, слоеные пирожки?» Екатерина Сергеевна, конечно, сразу согласилась, но с недоумением спросила: «Камо, где же ты достанешь продукты?»

Не знаю, где и как, но Камо раздобыл рис, мясо, масло, муку. У друзей, только что приехавших из-за границы, он достал две бутылки французского коньяка. И вот в назначенный день, взяв машину у Авеля Енукидзе, Камо стал свозить гостей к Екатерине Сергеевне. Сначала он привез Алексея Максимовича и Луначарского, потом Миха Цхакая, Филиппа Махарадзе и Сергея Яковлевича Аллилуева. Затем приехал и Енукидзе. Пока Камо собирал гостей, Алексей Максимович и Анатолий Васильевич сидели в комнате и оживленно беседовали. Тут же были Лев Шаумян и я. Горький неторопливо, обстоятельно, со своим глуховатым, характерным волжским оканьем говорил о молодых писателях и внимательно прислушивался к рассказам Луначарского о литературных делах. К Анатолию Васильевичу Горький относился с большой теплотой и уважением — он высоко ценил его талант и обширные знания во всех областях культуры.

Я в разговоре не участвовал, пока ко мне не обратился Горький с вопросом:

— Вы, кажется, недавно с Кавказа? Что там делается в литературной жизни?

Откровенно говоря, я смутился, так как ничего не мог ему ответить — мне тогда не приходилось сталкиваться с литераторами. Выручил Лев Шаумян, который рассказал о Василии Каменском, Сергее Городецком, Рюрике Ивневе, с которыми он недавно встречался в Тифлисе, где еще господствовали меньшевики. Шаумян говорил, что эти поэты выступают с лекциями, читают свои произведения, настроены просоветски и ведут себя хорошо.

Екатерина Сергеевна пригласила всех к столу. Аккуратно была разложена на нем разномастная посуда: тарелки, кружки, чашки, стаканы разных цветов и размеров — все, что удалось собрать у соседей. За стол уселись молча, но бурное оживление наступило, когда был подан мастерски приготовленный Екатериной Сергеевной плов, а за ним появились и слоеные пирожки. Авель Енукидзе был виночерпием и разливал коньяк с учетом возможностей и потребностей каждого: кому немного — на донышке, кому побольше, а Алексею Максимовичу налил полный стакан. Началась оживленная беседа.

Алексей Максимович медленно, маленькими глотками, по-европейски, попивал коньяк. Он задумался, как бы что-то вспоминая, и рассказал историю, которая произошла с ним много лет назад в одиночной камере Метехского замка. Он не назвал года и месяца, но было это, как удалось уточнить, в 1898 году. И вот недавно вместе с Л. Шаумяном мы постарались восстановить в памяти рассказ Алексея Максимовича.

Был какой-то праздник. Возможно, Троицын день. Всем арестованным принесли с воли передачи — вкусную еду и даже вино. Из камер неслись громкие голоса пирующих, песни. Алексей Максимович хмуро ходил в своей одиночке из угла в угол. Не было у него близких, никто ему ничего не принес. Надзиратель, добродушный человек, шагал по тюремному коридору, время от времени заглядывал в «волчок», сокрушенно, сочувственно покачивая головой. Потом на некоторое время надзиратель исчез. Оказывается, он бегал домой — жил он во дворе тюрьмы. Зазвенели ключи, заскрипели дверные засовы, и на пороге камеры появился надзиратель. В одной руке у него был глиняный горшок с горячей долмой*, в другой — большая кружка с красным вином. Как бы стесняясь, не глядя в глаза, надзиратель буркнул, ставя на стол свои приношения: «На, ты тоже гуляй», — и быстро вышел.

Алексей Максимович сказал, что он часто вспоминает этот случай. И не мог не вспомнить его сейчас, поедая вкусный плов Екатерины Сергеевны.

Помнится, вечер был очень интересным. Миха Цхакая рассказал какой-то забавный случай, связанный с одним из его путешествий. Алексей Максимович от души хохотал. Камо по своему обыкновению шутил и оживлял разговор бесконечными историями, которых он знал великое множество.

Вот так происходило мое первое знакомство с Горьким — писателем, который уже давно был мне дорог по замечательным книгам, находившим особый отзвук в сердцах революционеров. Я впервые читал «Мать» еще на ученической скамье и становился как бы соучастником борьбы рабочих. А «Песню о Буревестнике» мы знали наизусть, декламировали в школьных кружках. Она для нас стала Песней революции — на всю жизнь.

С тех пор я не видел Горького до 1928 года. А когда он вернулся на родину, я нередко виделся с ним и один, и вместе с товарищами из Политбюро. Бывал у него дома на Малой Никитской и на даче в Горках.

Хорошо помню, с какой любовью Алексей Максимович рассказывал о Шаляпине, — за границей они часто встречались. Горький говорил, что Шаляпин должен вернуться на родину, что он тоскует по ней. Но проходило время, а Шаляпин не приезжал...

— Да, — как-то заметил Горький, — у Шаляпина словно две души: одна рвется на родину, а другая принадлежит его импрессарио, гастрольным поездкам, деловым и коммерческим интересам.

Горький был полон впечатлений о том, что он увидел на родине после долгой разлуки. Его буквально потряс могучий размах строительства, трудовой подъем и энтузиазм масс. Новое в Стране Советов было постоянной темой разговоров Горького. Но самое сильное впечатление на Алексея Максимовича, в особенности после его известной поездки по стране, произвели новые люди. Помнится, с каким восторгом рассказывал он и о своем пребывании на Кавказе. В Грузии Горький бывал и прежде, хорошо знал эту страну и ее людей. Поэтому огромные успехи грузинского народа в развитии экономики и культуры особенно его радовали. Он говорил об этом с необыкновенным вдохновением. Армению Горький посетил впервые, хотя знаком был с ней по произведениям армянских писателей — ведь под редакцией Максима Горького еще в годы первой мировой войны в Петрограде вышел сборник армянской литературы. И вот теперь он увидел эту некогда нищую землю, которую в годы дашнакского разгула называли страной сирот и слез. Армения предстала перед Горьким обновленной, устремленной вперед. Его радовал и расцвет ее литературы. Алексей Максимович всегда с глубоким уважением и горячим интересом относился к литературам других народов, и это сплачивало вокруг него писателей всех наших национальных литератур.

Из своей знаменательной поездки по Стране Советов Горький возвратился каким-то преображенным, обновленным, полным ярких впечатлений и идей. Он с головой погрузился в кипучую деятельность. Можно смело сказать, что в то время не было ни одного сколько-нибудь важного начинания в области культуры, не связанного с именем Горького. Надо ли напоминать читателю о журналах, книгах, коллективных изданиях, самых различных творческих мероприятиях, рожденных по инициативе Алексея Максимовича.

Вспоминается такой случай. Однажды (это было в 1932 году) я в числе других товарищей навестил Горького на Малой Никитской, когда у него находились двое ученых-медиков — Л. Н. Федоров и А. Д. Сперанский. Горький оживленно беседовал с ними на медицинские темы. Как выяснилось, речь шла не о развитии практического, если можно так сказать, здравоохранения — то есть не о строительстве новых больниц, санаториев и пр. Темой разговора, который имел большие последствия, было будущее самой медицинской науки, в частности — проблема долголетия. Горький говорил, что наука плохо знает человека, не умеет бороться со старением организма — и люди часто умирают в расцвете духовных сил, когда они так много могут сделать для общества. Горького очень волновало, что у нас тогда было мало медицинских научных учреждений, в особенности академического типа. Именно тогда Горький выдвинул идею организации Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ). Это предложение ЦК принял, институт был создан, и впоследствии ему присвоили имя Максима Горького. Как известно, в годы войны на базе ВИЭМа была создана Академия медицинских наук, ставшая ныне крупнейшим в мире центром медицинской науки.

А. И. Микоян, А. М. Горький и К. Е. Ворошилов (30-е годы).
Снимок публикуется впервые

Постоянный, неослабевающий интерес Алексей Максимович проявлял к детям, проблемам их воспитания, образования. Известны его посещение Куряжской колонии под Харьковом и та роль, которую М. Горький сыграл в судьбе воспитанников Макаренко и самого Макаренко как писателя. Горький с восхищением рассказывал об этой колонии, о Макаренко. Не раз он обращался ко мне как к народному комиссару снабжения с просьбами об оказании всяческой помощи детям, в частности, увеличении пайков в детских колониях и санаториях. Просьбы и предложения Горького всегда были обоснованы, его доводы — вески и убедительны.

Здесь мне хочется сказать вообще о стиле, в котором Горький вел свои разговоры и беседы. Он никогда не торопился, не горячился во время беседы — говорил спокойно, размеренно, словно взвешивая каждое слово, умел внимательно слушать, проявляя неизменный и живой интерес к собеседнику. Алексей Максимович считал себя плохим оратором («писать кое-как научился, а говорить вот не умею»). Можно соглашаться или не соглашаться с мнением самого Горького о его ораторских способностях, но что собеседником он был исключительным, в этом сомнения быть не может.

Отзывчивость Горького была поразительна. Сколько людей обращалось к нему по разным делам — личным и общественным, и он, несмотря на свою перегруженность, всегда находил время и силы отозваться на каждую просьбу. Ну, а уж что касается литературы, творческой судьбы молодых литераторов, — здесь Алексей Максимович был бесконечно, по-отцовски заботлив.

Как-то в воскресный день, придя к Алексею Максимовичу, я застал его за работой. Он читал с карандашом в руке какую-то толстую рукопись. Его стол был завален рукописями, конвертами со всех концов страны — из Сибири, с Урала, Дальнего Востока, Кавказа. Горький сразу же заговорил о молодых, делающих первые шаги в литературе:

— У нас море талантов. Надо только помочь им пробиться. И здесь — святая обязанность наших старых писателей вовремя заметить, поддержать. Очень это важно — заметить!

Кто же, как не Максим Горький с его моральным, общественным и литературным авторитетом, мог возглавить и сплотить советских писателей в единую творческую организацию. Помню, на даче у Горького члены Политбюро уговаривали его стать во главе творческого союза, учитывая, что писатели настоятельно хотят этого и что другой, более подходящей кандидатуры нет. Горький сомневался, сумеет ли он справиться с массой организационных дел, связанных с деятельностью союза. Тогда Сталин предложил Горькому подобрать любого работника, который мог бы помочь ему во всей этой практической деятельности. Горький сказал, что высокого мнения об организаторских способностях А. Щербакова, с которым встречался в Нижнем Новгороде, где тогда Щербаков работал в губкоме партии, и хотел бы видеть его на посту секретаря правления Союза писателей. Как известно, так это и произошло...

Вот те небольшие штрихи, которые пришли мне на память в канун столетия со дня рождения Алексея Максимовича.

* Кавказское блюдо вроде голубцов.

Надежда ЧЕРТОВА

СТРОГАЯ ШКОЛА

О работе Горького в редакции журнала «Колхозник», о внимании великого писателя к новой советской деревне, о его высокой требовательности к литературному труду рассказывает автор этих воспоминаний.

В 1934—1935 гг. мне довелось вместе с писателями В. Зазубриным, Н. Замошкиным, Н. Машковцевым участвовать в одном из самых замечательных горьковских начинаний: мы были привлечены для работы в редакции журнала «Колхозник», возглавляемой лично Горьким. Не скрою: радовала и одновременно страшила предстоящая работа.

Алексей Максимович сразу же внушил нам сознание новизны того дела, к которому нас призвали: зарождался первый журнал для советского крестьянства, на высоком, без всяких скидок художественном и научном уровне.

Я немного уже знала Горького как редактора: еще из Сибири послала ему в Сорренто рукопись небольшого своего рассказика и ровно через две недели получила письмо Алексея Максимовича и свою рукопись с тонкими, чуть приметными карандашными пометками на полях. В письме содержалось несколько советов, относящихся к тексту рассказа, — все это в предельно корректной форме. Я смотрела на тонкие листки рукописи с пометками Горького и испытывала жгучий стыд прежде всего оттого, что в журнале «Сибирские огни», где я тогда работала, не была нами принята такая вот деликатность в отношениях с авторами. Мы не стеснялись на полях рукописи при первом же прочтении — когда судьба ее еще не была решена — расставлять разноцветные вопросительные и восклицательные знаки, решительно подчеркивали не только строчки, но и целые абзацы. (Уместно тут сказать, что позднее, переехав в Москву, я имела много случаев убедиться, что и московские редакции столь же, а иногда еще более бесцеремонно «разрисовывали» рукописи.)

Сотрудникам «Колхозника» категорически запрещено было высказывать свое мнение на полях рукописи: допускалась лишь едва приметная карандашная точка или галочка, какую в один мах можно стереть резинкой. Обезлички не было — каждую рукопись, от первого прочтения до редактирования, утверждаемого Алексеем Максимовичем, и вплоть до выхода журнала в свет вел один литературный сотрудник.

Но зато — как строг был Горький, когда речь шла о правке принятого, рабочего экземпляра рукописи! Не прощалась не только неуклюжая или неясно выраженная фраза, но даже и запятая, поставленная не на месте. «Читайте страницу, как молитву, десять раз подряд, вслух читайте!» — не раз говаривал Горький. И, боже мой, каким же исчерканным, перемаранным возвращался от Алексея Максимовича подготовленный нами, безукоризненно перепечатанный и окончательный, как нам казалось, текст. Просмотришь все страницы, прочтешь замечания — выпаришься, как в жарко натопленной бане. И, чтобы тебя еще раз не выпарили, или, лучше сказать, не выпороли, сидишь, бывало, заткнув уши, над рукописью и в двадцатый раз бормочешь строчку за строчкой, прежде чем отдашь в папку материалов для отправки Горькому.

Алексей Максимович прочитывал рукописи дважды — перед утверждением состава номера и перед отправкой в набор. Вот это второе прочтение было для нас самым волнующим. Оно сопровождалось подробным письмом в редакцию. Это были замечательные письма-программы, полные интереснейших раздумий о нашем читателе-крестьянине, о литературе, о научных проблемах, которые нам следовало осветить.

Мы ожидали толстой папки материалов, просмотренных «стариком» — так в редакции любовно звали Горького, — с величайшим нетерпением.

Однажды папка принесла некую неожиданность: когда была разобрана вся почта, Е. З. Крючкова, заведующая редакцией, извлекла десяток листков, вырезанных то ли из какого-то журнала, то ли из книжки, и протянула эти листки мне:

— Прочтите очерк Алексея Максимовича. Он великоват по размеру, вам поручается его сократить.

Сократить текст Горького! Но ведь это невозможно, это страшно!

Пока листочки перепечатывали, я еще имела время предаваться страхам и неуверенности. Но вот легла передо мною стопка считанных сверщиками страниц, и, подгоняемая неумолимыми сроками, я принялась за работу. Не буду здесь описывать, сколько раз перечитывала я текст, не прикасаясь ни к одной строке. Наконец приняла решение: набросать для себя план очерка, разложив его на составные части. Тут и обнаружилась как бы привходящая, отдельная сюжетная линия в очерке, и я вознамерилась изъять ее полностью. Нечего и говорить о том, насколько трудной оказалась эта «операция»: все сюжетные узлы и детали очерка были накрепко между собой связаны, неприметно вплетались в ткань повествования, искусно ее расцвечивая.

Долго сидела я над изувеченными страницами, устрашаясь величине вычерков. Однако текст как будто укладывался, и только в одном месте потребовалась связующая фраза...

Хорошо помню день, когда папка вернулась от Алексея Максимовича. Мы засели в тесной комнате, рукописи шли одна за другой, уже прочитано было письмо Горького, а моей «груды» нет и нет. «Разнес вдребезги, — тоскливо думала я, — не надо было браться». Все стали уже расходиться, но тут Крючкова задержала меня.

— Алексей Максимович успел забыть, кому поручил сократить свой очерк, — сказала она. — А объяснительную записку я решила отдать только после прочтения текста. Он спросил, чья это работа. Сказал, что удовлетворен и очень благодарит. — Она помолчала и добавила: — Сказал: хитро сделала, молодец.

Иногда Горький устраивал у себя на Малой Никитской редакционные совещания. Одно из них, происходившее в декабре 1934 года, мне особенно запомнилось.

Алексей Максимович появился с нашей папкою в руках, мы тотчас же окружили его. Нечасто приходилось видеть Горького так близко, и я жадно его разглядывала. У него были широкие, по-старчески согбенные плечи и — синие, полные молодого блеска глаза; густой, глубокий бас — и непрерывное, гулкое покашливание, идущее как бы из пустой груди. (При первой встрече, в 1931 году, я вот так же пристально разглядывала Горького и, помнится, так же удивлялась противоречивости впечатлений. Писатель И. Г. Гольдберг, мой спутник, рассказывал тогда о Сибири, а Горький внимательно слушал, барабаня пальцами по столу, опустив голову. «Очень стар и очень болен», — с грустью думала я. И вдруг он поднял взгляд, и я увидела, что в синих глазах его по-молодому искрилось усмешливое любопытство.)

Мы уселись за круглый стол во главе с Алексеем Максимовичем. Он медленно раскрыл заветную папку.

— Ну что ж, научные статьи, пожалуй, хороши, — Алексей Максимович дружелюбно взглянул на заведующего научным отделом. — Вот так-с. А проза — плохая, — добавил он озабоченно. — Очень плохая.

Мы потерянно молчали. Что можно было сказать? Зарождение колхозной темы в молодой советской литературе уже совершилось, разрабатывали ее крупные, многообещающие таланты. Но этому трудному процессу сопутствовал поток произведений неглубоких, идущих в русле кондовой крестьянской стихии и примечательных только разнообразием областных словечек. Трудно даже выразить, насколько эти «явления» литературы не сходились с мечтами нашего редактора о принципиально новом журнале для колхозного крестьянства.

Горький принялся разбирать одну рукопись за другой: особенный гнев вызывали в нем небрежные рассказики, которыми беззаботно снабдили нас авторы с достаточно крупными именами.

— Сбросили отходы и думают: раз журнал крестьянский — все туда можно сунуть. Это же халтура! — глуховато басил Алексей Максимович.

— Спросите рассказы у Пришвина, у Соколова-Микитова... Надо поднимать крестьянского читателя до настоящего, до подлинного искусства, а не расписывать ему его же самого в наихудшем виде, со всей темнотой и дикостью: эка новости!

— Обещал дать рассказ или очерк Иван Катаев, — вставила я.

Алексей Максимович вдруг улыбнулся как-то особенно светло и дружелюбно:

— Отличный писатель! Вот. Искать нужно. А то, вижу, вы тут одних сибиряков понабрали. — Он перевел шутливо-грозный взгляд на заведующего отделом прозы В. Я. Зазубрина. — Я уже слышал, московские писатели относятся к нашему журналу равнодушно. Не понимают! Не понимают, что «Колхозник» — первый журнал для крестьян. Вы подумайте только — первый! — с жаром и волненьем повторил он. — Иной раз я даже заснуть не могу, перебираю в памяти, думаю, что бы еще сделать для нашего «Колхозника». Недавно рассказ написал. «Бык» называется. Конечно, отдам его вам... — Он стеснительно усмехнулся. — Как-то ночью, не поверите, стихи даже сочинил... импровизацию. Стихи для крестьян. Утром перечитал, ну и, конечно, сжег.

— Ах, напрасно! — вырвалось у Замошкина.

Алексей Максимович только отмахнулся. И, помолчав, спросил:

— Но что же все-таки делать с писателями?

Тут посыпались предложения: созвать совещание писателей, где первую речь произнесет Горький, организовать радиобеседу о журнале... Разговор стал общим, шумным, то и дело возникали и гасли споры. И вот, не помню уж в какой связи, В. Я. Зазубрин вдруг сказал Горькому:

— Читаю вашего «Клима Самгина» и, знаете, Алексей Максимович, основательно почеркал текст.

Горький бросил на него быстрый взгляд и произнес чуть холодновато и настороженно:

— Ну-те-с?

Мы смолкли. А Горький слушал запальчивую речь неожиданного критика, устало склонив к плечу голову с жестким, полуседым ежиком волос. Казался в этот момент похожим на птицу, сильную, суровую, одинокую.

— Черкайте, черкайте, — сказал он с едва уловимой усмешкой.

«Старый боец», — подумалось мне. И сколько же ему довелось выдержать за свою писательскую жизнь наскоков! Да разве таких, как этот? И враждебных, и злобных...

— Читаю стихи, — заговорил Алексей Максимович, возвращая нас к теме беседы. — Много стихов. И ничего не понимаю. Где поэты? Где поэзия?

— Но как же это, Алексей Максимович, — возразил Н. И. Замошкин. — Помните, у Багрицкого в стихах сказано: «Тихонов, Сельвинский, Пастернак...» А из молодых следовало бы назвать Павла Васильева. Талант большой, но... — Николай Иванович замялся и прибавил уже неохотно: — Беда с ним: опять наскандалил.

Горький долго молчал, хмурился. У всех свежа была в памяти суровая статья его о хулиганстве и резкие слова в ней о Павле Васильеве. Сибиряк Васильев писал такие стихи, которыми мы, его земляки, законно гордились. Но и скандалил так, что приводил в отчаяние своих друзей.

— Видите ли, — заговорил наконец Алексей Максимович. — Я вот живу вне литературных пересудов — и спокоен. А если б жил там, внутри, кто знает... может, тоже скандалистом бы заделался. Эта атмосфера... представляю себе!

Никто не произнес ни слова, так это было неожиданно. Но, кажется, все подумали: Горькому нелегко было назвать имя Васильева в своей статье, он не мог не знать превосходных его стихов.

Вскоре мы заметили, что Горький устал, и, переглянувшись, враз поднялись.

— Старею, поясница болит и астма еще мучает, — покашливая, говорил Алексей Максимович и крепко пожимал нам руки.

На другой день в редакции много было разговоров о совещании у Горького.

«Прожить бы ему еще хоть десяток лет!» — думала я о Горьком и, может быть, впервые сознавала, как дорог нам каждый день, прожитый этим человеком...

РЯДОМ С ДРУГОМ И УЧИТЕЛЕМ

«...В Крыму произошла последняя моя встреча с Горьким. Было это в 1936 году, месяца за четыре до его смерти.

Горький зимовал в Тессели...

Сюда, на Форосский берег, приехал и я для того, чтобы повидаться с Алексеем Максимовичем...

Меня Алексей Максимович подробно расспрашивал о детской литературе, которую он называл «большой литературой для маленьких», о только что прошедшем совещании и о той войне, которая все еще шла у писателей с педологами различных толков, опасавшихся сказки и запрещавших животным и вещам говорить по-человечьи.

— Ну что, позволили, наконец, разговаривать чернильнице со свечкой? — спрашивал Алексей Максимович. — Сошлитесь на меня. Я сам слышал, как они разговаривали. Ей-богу!..

Для Алексея Максимовича не было малых дел.

Его интересовало строительство на всех участках — от рождения новых городов до выпуска новой детской книжки.

Чуть ли не в первый же день моего приезда — после обеда — он позвал меня к себе в угловую комнату и предложил моему вниманию несколько исписанных сверху донизу листов бумаги с очень широкими полями, отмеченными синей линейкой.

Я сразу узнал горьковский квадратный, раздельный, ровный, особенный почерк и подумал, что это новый его рассказ или отрывок из романа...

Я стал читать тут же, не отходя от стола.

Но это был не рассказ и не роман.

«...Земной шар. Сделать из папье-маше глобус, разрезать его сообразно пластам вулканических и нептунических пород, показать вкрапление в них различных рудных и нерудных ископаемых: угля, железа, солей, нефти, торфа и т. д.»...

Обстоятельные и серьезные заметки Горького о наглядных пособиях для детей, набросанные им в Крыму в последние месяцы жизни, кажутся необыкновенно трогательными...

Я увез с собою из Крыма несколько тщательно исписанных рукою Горького листков и немеркнущую память о большом человеке, современником которого мне посчастливилось быть».

С. МАРШАК.
«ТРИ ВСТРЕЧИ»

На снимке: А. М. Горький и С. Я. Маршак. Крым, Тессели, 1936 г.